

Чл.-корр. АН СССР проф. В. Ф. ШИШМАРЕВ

АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВСКИЙ
и
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА
ЛЕНИНГРАД
1946

В

V576s

В последнее время за рубежом всё чаще
чаще раздаются признания огромной роли
народов Советского Союза, и в первую оче-
редь—русского, в освободительной борьбе тру-
щегося человечества против всяческих вра-
ков подлинной демократии. Подчеркивается
не только наше военное и политическое зна-
ние, но и моральное. Нас до сих пор как-то
 недооценивали, т. е. нас, в сущности, знали
плохо, неполно, односторонне, и часто отно-
сились к нам предвзято. Мы были в Европе
своего рода *enfant terrible*, от которого можно
ожидать всяких неожиданностей, которого склон-
ности, намерения, характер и ум таят в себе
что резко отличное от характера и ума за-
падного человека, какое-то предпочтение раз-
рушения—созиданию, размашистости—разме-
шности, воображения—критическому ана-
лизу, образа—идее, общественных бурь—
спокойствию, драматичному уюту. Очертания русского чело-
века проступали неотчетливо сквозь дымку

смутного далека. Правда, за последние сто лет наши связи с Западной Европой все более и более активизировались с той и другой стороны; о нас не мало писали. Но знали о нас больше специалисты, и то часто поскольку мы писали на иностранных языках или поскольку они вынуждены были пользоваться оригинальными материалами, без которых нельзя было обойтись. Вообще же нужно признать, что и для нашего времени остается в силе положение *rossica non leguntur*.

Огромную роль в деле знакомства с нами сыграла в широких общественных кругах наша литература. Она внущила интерес к нам; она, от Тургенева, Толстого, Достоевского и до Чехова и Горького, явилась той силой, которая не только привлекла к себе и изображаемому в ней нашему обществу мировое внимание, но заразила своими характерными особенностями, своей доминирующей устремленностью, настроенностью, сообщив своим европейским и американским сестрам новую творческую ориентацию, новые импульсы, что давно уже признали крупнейшие их представители.

За годы войны очертания русского человека прояснились, облик его обозначился отчетливее. В минуты тяжелых испытаний как

отдельный человек, так и целый народ скаживаются ярче, полнее, многостороннее. Война сблизила нас с теми людьми на Западе, которые действительно хотели уяснить себе существование русского человека, и только ослепленные предвзятыми идеями не сумели разглядеть его. Тем хуже для них, потому что в жизни нельзя оперировать фантомами и небоснованными допущениями.

Юбилей Академии Наук СССР, который подвел итоги работы нашей научной мысли более чем за два века, напомнил лишний раз о ее громадных достижениях и пробудил интерес к изучению работ ее корифеев, из которых многие еще до сих пор не оценены надлежащим образом нашими зарубежными собратьями. Я имею в виду и в этом случае людей живых, чуждых предубеждений, способных увлечься всяkim настоящим, большим исканием истины. Людям типа химика Оствальда, выходца из старой России, отказавшего в 1914 г. русским в талантах и знаниях перед лицом Менделеевых, И. П. Павловых, Чебышевых и А. Н. Веселовских и т. д., конечно, никакие напоминания не помогут. Мы знаем еще из биографии Сервантеса, что самыми злобными врагами христиан в Алжире являлись ренегаты.

В нижеследующих строках я хотел бы

напомнить об А. Н. Веселовском—гордости русской науки, несомненно крупнейшем историке и теоретике литературы, которого мы до сих пор имели, и наиболее значительном, по жалуй, по широте охвата материала и постигновке затронутых им проблем представителю нашей науки в мировом масштабе. Несколько лет тому назад, в связи со 100-летием со дня его рождения, мы характеризовали его деятельность, причем старались показать, главным образом, его отношения к последующему развитию нашей науки и ее современному состоянию. Мы стремились тогда вскрыть новое, что внес Веселовский в метод историко-литературного исследования и в постановку вопросов; мы подчеркивали, по существу, его разрыв с усвоенными им в родине приемами работы и новыми навыками приобретенными им в западно-европейской школе; мы отмечали тогда, насколько он в целом близок нам по многим своим теоретическим взглядам, несмотря на отделяющий нас от него значительный промежуток времени; насколько он помог многим из наших исследователей выйти на новые, материалистические пути работы в области литературной науки и языкоznания (ибо Веселовский был крупным филологом) и насколько он может еще пригодиться нам.

В настоящее время хочется пойти в обратном направлении и отметить в нем черты, которые являются продолжением традиций учителей, которыми он обязан русской школе, которые он пронес через всю свою жизнь; одним словом—показать, что, несмотря на свою западную школу, Веселовский оставался русским ученым и русским человеком, занимаясь всю свою жизнь языками и литературами чуть ли не всех европейских и многих восточноевропейских народов. Сейчас, когда мы, подводя итоги нашей военной пробы с фашизмом, убеждаемся в том, что многие своеобразные черты нашего военного мастерства, заслужившего всеобщее признание, оказываются дальнейшим развитием традиций великих полководцев нашего прошлого, а в нашем рядовом бойце и русском народе проявились вновь качества, характеризующие их издавна, вспомнить об этих связях особенностях индивидуальности Веселовского особенно уместно.

Когда мы говорим о Веселовском, то зачастую мыслим себе его как исследователя в области истории западно-европейской литературы. И действительно, ему принадлежат очисленные работы, посвященные целиком либо в той или иной мере вопросам западной литературы: здесь и Рабле, и Пьер

Бейль, и Ренан, и Шекспир, и Роберт Грин, и Байрон, и Лопе де Вега, и Луис де Кастильо, и в особенности итальянцы, от Данте до Петрарки, Бокаччо, Джованни да Прато, Ант. Пуччи, Кастильоне, Маккьявелли, Карло Гоцци. С другой стороны, это старо-французский эпос, средневековое фабльо, шванк, но велла, лирика, скандинавская сага и Эdda, западно-европейские сюжеты, жонглеры и щипильманы, литературные направления, как Возрождение, классицизм, романтизм и т. д. Веселовский руководил в Ленинградском университете кафедрой так называемой «всесоюзной литературы», введенной уставом 1863 г. а позже романо-германской филологии (по согласию уставу 1884 г.).¹ Он создал в России школу специалистов по западно-европейской литературе и положил начало романо-германской филологии и лингвистике. Он был первым русским ученым, который прошел серьезную романо-германскую филологическую школу за границей, куда он был командирован с этой целью в 1862 г. Московским университетом.

Очень рано Веселовский начал интересоваться и литературами народов финно-угор-

¹ Ныне эта кафедра разделена на две: кафедру романо-германской филологии и кафедру романо-германских литератур,—может быть преждевременно.

ского севера, народов Кавказа, Сибири и Востока. Но, не зная соответствующих языков, он пользовался этим материалом либо по печатным переводам, либо при помощи специалистов, у нас и за рубежом.

И все же для исчерпывающей оценки Веселовского как ученого не следует забывать его обширнейших исследований в области литературы византийской, славянских, русской, в особенности русской.

Веселовский может быть назван „западником“ лишь в той мере, в какой он широко привлекал к исследованию западно-европейский материал и свободно владел им. По существу, этот совершенно исключительный в истории литературной науки исследователь, этот monstruo de naturaleza, как о нем можно было бы сказать, повторяя эпитет, данный в свое время Лопе де Вега, занимался сравнительным изучением литературных явлений и основную задачу своей работы видел в построении исторической поэтики. С мыслью о том, вышел он совсем еще молодым человеком на работу и, умирая, приводил в подлок рукопись последней части, оставшейся законченной *Поэтикой*, поэтике сюжетов. значительную часть последних полутора десятков лет жизни Веселовский посвятил обработке отдельных глав и частей *Поэтики*,

тогда же появившихся в печати. Но подготавливались они исподволь, в сущности в течение всех предыдущих лет работы, как это видно из отдельных, попутно высказывавшихся им положений и оброненных мыслей по ряду теоретических вопросов. Появление в печати незаконченной *Поэтики* Шерера (1888), которая была переведена на русский язык слушательницами Веселовского по Высшим женским курсам (не без его совета), послужило, несомненно, толчком к обнародованию им своих работ в той же области. К тому же в эти годы в Западной Европе на смену старым работам Карьера (1873), Ваккернагеля (1873) и Баумгарта (1887) стали появляться одна за другой поэтики и ряд связанных с нею по темам работ: немцев — Э. Вольфа (1890), Л. Якобовского (1891), Э. Гроссе (1894), К. Боринского (1895), К. Брухмана (1898), К. Бюхера (1899), француза Летурно (1894), болгарина Матова (1895), датчанина К. Вилькенса (1899), финляндца И. Гирна (Yrjö Hirn, *The Origins of Art*, 1900), американца Ф. Гэммира (F. B. Gummere, *The Beginnings of Poetry*, 1901) и др. Сопоставляя с ними поэтику Веселовского, ее можно было бы назвать „русской“: в ней широко использован русский материал; она во многих своих частях подготовлена исследованиями самого же Веселовского в области русской поэзии, и, наконец,— идея ее выросла на русской почве, в студенческие годы Веселовского, в условиях тогдашних литературно-теоретических исканий.

Университетские годы Веселовского — это годы перелома и канун „шестидесятых годов“. Самодержавный режим николаевского гнета в России, усилившийся в 50-х годах до предела, потерпел жестокий крах в Крымской войне, и банкротство его, как и насущная необходимость его ликвидации не ощущались только самыми тупыми или упрямыми людьми. Старая литература с ее остатками романтизма уступала место новой, в которой все отчетливее слышался голос „разночинцев“ и все настойчивее приступали тенденции возрождения революционной линии Белинского и раздавались требования реалистической критики общества в стиле Гоголя. Искусство сближалось с жизнью, история должна была расчистить путь будущему. Надо было заняться научным изучением народа в его прошлом и настоящем в целях преобразования его жизни и отбросить всякие фантастические представления о нем в духе романтизма и всякую официальную народность, заполнявшуюся произвольным содержанием охранителями незыблемости старого русского порядка.

Веселовский, чувствительный к литературе и поэзии и, по его собственному признанию „шаливший стихами и прозой“ в свои молодые годы, не мог, конечно, не реагировать на очередные вопросы, волновавшие общество той поры и университетское студенчество. Его повести носили на себе еще следы романтического стиля, „с луной и темным лесом, где совершалось убийство, привидениями и замками“. „Стихами, — рассказывал Веселовский, — я баловался и позже, и в первом курсе подал Шевыреву отрывок из *Орлеанской Девы*, за что был призван поощрен“ (см. автобиографию Веселовского у Пыпина, *История русской этнографии* II, 423). Шевырев занимал еще тогда (Веселовский поступил в университет в год юбилея, 1855) кафедру русской словесности и пользовался известным авторитетом, чем объясняется обращение к нему Веселовского. Но дальше этого дела не пошло. Познакомившись с профессором ближе, новичок отошел от него, как и большинство студентов, которым Шевырев, и по своим личным качествам и по своей идейной настроенности симпатий не внушал. „Шевырев никогда не увлекал меня“, — говорил Веселовский, но конечно он не мог не познакомиться с его университетскими курсами, посвященными ист-

рии и теории поэзии (1834—1835 гг.): *История поэзии* и *Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов*. Обе эти книги, представлявшие собой комиляции, были, однако, на высоте тогдашнего уровня науки и ориентировали в ряде важнейших вопросов. Если учитывать характер интересов молодого студента той поры, то это могли в них задеть только подчеркивания значения истории: „поэзия лучше, многостороннее определяется в истории, нежели в эстетике“; в науке знание образцов, история поэзии должна предшествовать ее теории; настоящая теория может быть создана только в следствие исторического изучения поэзии“. Такие мысли могли запоминаться, тем более что Веселовский в ранние годы студенчества весь ушел в историю. Грановский читал тогда не долго, да к его поклонникам Веселовский и не пристал. Трезвый аналитик, поклонник факта, Веселовский находил, что „от его лекций отдавало фразой“. Его увлек Кудрявцев, ученик Грановского: „я весь отдался Кудрявцеву“, — признавался впоследствии Веселовский. Лекции Кудрявцева были откровением для многих: они отличались живостью, были яркие картины прошлого и тонкий анализ исторических персонажей. Кудрявцев-историк был одновременно писателем, тонким

ценителем и знатоком искусства, в особенностях итальянского, хорошо изученного им на месте. Нет ничего удивительного, что Веселовский спрашивал себя позже, не отсюда ли его интерес к „культурно-историческим“ вопросам и не отсюда ли, в конце концов, вытекли его занятия Возрождением и его книга *Вилла Альберти* (Пыпин, ук. соч., II, 425). Университетские занятия историей, к которым следует прибавить чтение Герцена, Фейербаха (кландестинно), Бокля, заложили в идеях молодого ученого прочный фундамент историзма, который определил навсегда характер работ Веселовского и, в частности, отправную точку той из них, которая занимает среди них центральное положение; историзм и учет социальных отношений, необходимый при анализе явлений искусства, литературы и поэзии.

В 1859 г. в *Дневнике человека, ищущего пути* (*Adnotationes*), едва окончивший университет Веселовский заносит такую заметку: „общество рождает поэта, не поэт общество. Исторические условия дают содержание художественной деятельности, уединенное развитие немыслимо, по крайней мере художественное“... „Всякое произведение носит на себе печать своего времени, своего общества“. И Веселовский возражает против положения

„искусство для искусства“: „художник для художника, говорят, человек—человеком“... „Всякое искусство и поэзия в высшей степени отражают жизнь“... „художник воспитывается на почве человека; через него среду он знакомится с миром внешним и практическое знание возводит к поэтическому апогею“ (*Памяти академика А. Н. Веселовского*. Пг., 1921, 65—67).

Таковы мысли, зародившиеся в голове Веселовского в связи с его чтениями и усиленными занятиями историей в атмосфере идей, развертывавшихся на переходе к 60-м годам, мысли, определившие и уточнившие пути к построению поэтики не умозрительной, а исторической. Они сложились, как мы теперь видим, давно, еще на университетской скамье, до поездки за границу.

Университетские чтения обратили Веселовского, между прочим, к изучению мифологии. На 2-м курсе он увлекся лекциями Леонтьева по философии мифологии. Леонтьев читал по Шеллингу; лекции носили отвлеченный характер, но материал был интересный, новый, уводил к фактам народной поэзии и соблазнял разобраться в понятиях народности, о котором так много, и в самых противоречивых тонах, говорили и спорили в литературе уже в течение более двух десятков лет.

К вопросам мифологии и народной поэзии Веселовский подошел вплотную, когда он перешел, наконец, к Буслаеву.

Глубокая любовь Буслаева к народной поэзии придавала его лекциям совершенно исключительный интерес. Свое отношение к предмету своих чтений Буслаев объяснил сам в одном из своих *Очерков*. Научное изучение литературы стоит, по его словам, в теснейшей связи не только с практической художественной деятельностью эпохи, но со всем умственным, нравственным, общественным и политическим ее направлением. Нам руководят и должны руководить сейчас уважение и любовь к народным массам, и в этом убеждает нас внимание и интерес, уделяемые народной мифологией, историей нравов, быта и т. д. На смену прежним философским формулам и эстетическим теориям пришли изучение фактов; вместо прежнего изучения одних только гениев и светил эпохи переходят к исследованию произведений малозаметных, анонимных, которые, однако, не менее важны для признания данной исторической поры. Старое, аристократическое, так сказать, направление в науке уступает место демократическому, гениальная личность — целому народу, и мы получаем таким образом возможность спуститься в глубины народа.

ности и познакомиться с самыми ее основами (*Очерки*, I, 401—405). Буслаев читал, вооруженный методом Гrimма, проникнутый глубокой любовью к народному миру, поддерживаемый своим остроумием и тонким поэтическим чутьем. И Веселовский поддался обанию этих чтений.

„Он читал оригинально,—говорил Веселовский,—по-своему, с некоторыми скачками, связь которых не легко давалась новичку: включение являлось нередко неожиданным; чтобы усвоить его лекцию, приходилось подумать; увлекали веяния Гrimмов, откровения народной поэзии, главное: работа, творившаяся почти на глазах, орудовавшая мелочами, извлекавшая неожиданные откровения из разных *Цветников*, *Пчел* и т. п. сырья“ (Пыпин, ук. соч., II, 424). После некоторого перерыва, во время которого Веселовский обратился к Бодянскому, желая пополнить свои сведения по славянским языкам, он вернулся к Буслаеву: привлекали лекции Буслаева и его работы, из которых сложились позже его *Очерки* (1861).

При более близком знакомстве с преподаванием Буслаева, начинали одолевать сомнения. Не удовлетворяла мифологическая эзегеза по методу Гrimма, в эту пору уже делавшему свое дело и подвергвшемуся

перебоенке. „Что только есть красного на свете, то тотчас сильно заподозревалось в таинственной связи с рыжебородым громовщиком“,—иронизировал по поводу Гrimма Шерер (*J. Grimm*, 149). Правда, Буслаев не походил на мифологов типа Афанасьева или О. Миллера, но мифология все же давала у него себя сильно знать. Веселовский допускал возможность позднего происхождения мифического образа из отнюдь не мифического источника (христианского, книжного) в условиях наличия в создающей среде соответствующего склада мысли. „Если в такую умственную среду попадет остров какого-нибудь поучительного аполога, — говорил впоследствии Веселовский (*Славянские сказания о Соловомоне и Китоврасе*, XIV),—легенда, полная самых аскетических порывов, они выйдут из нее сагой, сказкой, мифом; не разглядев их генезиса, мы легко можем признать их за таковые“. Не удовлетворит налет „романтизма народности“, который ощущался в Буслаеве (по словам того же Шерера, ук. соч., 139). Гrimm „прочно устроился в романтическом тумане“ древнего быта. Пыпин старался показать положительную сторону аналогичных увлечений Буслаева в нашей русской обстановке, ук. соч., II, 105) и был не по душе Веселовскому с его строгими историческими запро-

сами, искавшему народность в результате исторического процесса. В итоге Буслаев влиял на Веселовского больше привлечением к анализу более поздних книжных сопоставлений, в результате которых прошлое выглядело историчнее и реалистичнее. Но чем Буслаев глубоко заразил Веселовского в эту пору, так это интересом к изучению славяно-русского материала. „Будит только живое“,—обронил Веселовский в своем некрологе А. Н. Пыпина.

С такими научными симпатиями и задатками выехал Веселовский за границу в 1862 г. Он был тогда, по его выражению, „полон вожделений, но беден программой“ (там же). Пребывание за границей затянулось до 1869 г., и за эти годы Веселовский сложился таким, каким мы его знаем.

В этот промежуток времени Веселовский побывал в Берлине, в Праге, в австрийской Сербии. Эти два этапа отвечали его запросам, вынесенным из общения с Буслаевым. „Берлинская мудрость“ должна была пополнить недостаточные познания в области западной филологии, германистики, скандинавистики и романистики, к которым обращался Буслаев. В ряде своих специальных работ, опубликованных в *Очерках* и *Народной поэзии* вроде напр.: *О средстве славянских вил, русалок и полудниц с немецкими эльфами и валь-*

кириями; *Песни древней „Эдды“ о Зигурде и Муромская легенда; Сказание новой „Эдды“ о сооружении стен Мидгарда и Сербская песня о построении Скадра; Замечательное сходство псковского преданья о горе Судоме с одним эпизодом сервантесова „Дон-Кихота“* (в *Очерках*, I, 1861); *Песня о Роланде; Испанский народный эпос о Сиде* (в *Народной поэзии*, 1887) и многочисленных попутных справках. Поездкой в Прагу Веселовский рассчитывал углубить и дополнить свои сведения по славистике. Но не только на этих двух этапах видим мы перед собой ученика Буслаева. Когда Веселовского потянуло в Италию, то и здесь не обошлось без влияния „вылазок“ Буслаева в сферу Данте (Пыпин, ук. соч., II, 425); но, конечно, в гораздо большей мере в этом случае скились впечатления от занятий у Кудрявцева.

Затянувшееся пребывание в Италии увлекло Веселовского в область изучения итальянской литературы; тематика Буслаева отошла на второй план и уступила место Возрождению. Работалось на первых порах трудно: идея написать историю итальянского Возрождения „чуть ли не с падения империи“ оказалась непосильной, природная робость мешала завязать связи в ученом мире, реальность выполняемая тема долго не подвергвалась

Наконец, затруднения разрешились. Веселовский случайно набрел на памятник, названный им *Парадизо дельи Альберти* и приписанный им Джованни да Прато; вместо Ренессанса в целом, внимание сосредоточилось на важной эпохе перелома между XIV и XV вв.; появились знакомства среди итальянских ученых (Де Губернатис, Д'Анкона, Кардуччи, Компаретти) и работа пошла успешно. Веселовский так освоился в Италии, настолько проникся местными интересами, что у него появилась даже идея, а затем и возможность совсем устроиться в Италии, тем более что в Москве о нем как-то забыли.

В конце концов, однако, вспомнили. Веселовский вернулся в Москву, защитил диссертацию (*Вилла Альберти, переделка итальянской работы о Парадизо и последних тринадцати годах*, 1867—1869), но превратился в преподавателя Петербургского университета.

Возвращение на родину и прикосновение к родной почве заставило его переместить свои исследовательские интересы и вновь выдвинуло на новый план „буслаевскую“, если можно так сказать, тематику. Докторская диссертация Веселовского была посвящена вопросам истории литературного общения востока и Запада, в частности *Славянским изваниям о Соломоне и Китоврасе и запад-*

ным легендам о Морольфе и Мерлине (1872). Первая любовь Веселовского—славяно-русские литературные отношения—обновилась; но отношение к ней автора приняло уже иные формы. Между Буслаевым и Веселовским пролегло влияние Бенфея, умеренное, по признанию Веселовского, более старым знакомством с влиянием книги Данлопа—Либрехта (*Geschichte der Prosadichtung*, 1857) и диссертации А. Н. Пыпина *Очерк литературной истории старинных повестей сказок русских* (1857).

Впрочем, и соперница родины, Италия, в году увлечения Веселовского ею и ее литературой, не могла заглушить в нем полностью его тягу к русской и славянской литературе, развившуюся в Москве и стимулированную поездкой в славянские земли. Больше того, Веселовский, посылающий в 1864—1867 гг. из Италии в *СПбургские ведомости* свои корреспонденции, живые, с большим знанием дела и оригинально ориентирующие читателя в вопросах итальянской жизни и политики, отдает дань Герцену, а сотрудничаая в *Bibliografia Italiana*, *Civilità* в *Ateneo Italiano* и в *Rivista Bolognese*,—буслаевскому воздействию в работе о новелле на тему „преследуемой красавице“, работе, написанной притом по-итальянски (*Novella della figlia*

del re di Dacia—Новелла дочери царя Дакийского, 1866).

О том, как широко развернулись исследования Веселовским памятников русской и славянских литератур после его докторской диссертации и вплоть до последних дней его жизни, говорить не приходится. Работы Веселовского за этот период времени могут быть распределены по следующим группам: 1) исследования больших сюжетов (Соломон, Александр, Константин и Граль), к которым Веселовский периодически возвращался; 2) история легенды (ряд работ, которые были заглавлены автором *Опыты по истории развития легенды* (эпитет „христианской“ был вставлен редакцией *Журнала Министерства Народного Просвещения*, где они печатались между 1875 и 1877 гг.); 3) *Разыскания в области русских духовных стихов* (в *Сборнике отделения русского языка и словесности* между 1879 и 1891 гг.); 4) работы по эпосу (под различными заголовками *Южно-русские былины* в *Сборнике отделения русского языка и словесности* между 1881 и 1884 гг.); 5) исследования по роману повести (под различными заголовками и *История романа и повести* в *Сборнике отделения русского языка и словесности* 1886—1888 гг.); 6) статьи о сказке (собранные

ныне в томе шестнадцатом академического *Собрания сочинений* Веселовского). Особую группу составляют монография о Жуковском (1902) и статьи и речи по новой русской литературе.

Рядом с этим огромным числом книг и статей, исследования по итальянской литературе, к которой Веселовский возвращался в течение всей своей жизни, несравненно менее многочисленны, что не мешает им принадлежать к кругу блестящих его работ, занимать совершенно исключительное место в ряду европейских трудов, посвященных итальянской истории и литературе. Внимание Веселовского в этой области было сосредоточено на теме, увлекшей его, как мы видели, еще в годы его пребывания в Италии, а именно—итальянском Возрождении. Данте Веселовский посвятил, в сущности, всего две статьи и один курс, читанный им на Петербургских Высших женских курсах в 1888 г. и сохранившийся в литографированном виде.¹

Центральное место в этом кругу работ занимает, бесспорно, его магистерская диссертация *Вилла Альберти* и известная монография о Боккачо. В своем исследовании

итальянского Возрождения Веселовский шел от момента, когда движение развернулось уже широко, к его истокам. Последней по времени является его работа о Петрарке, появившаяся в 1905 г.

Характерно то, что если отбросить работы Веселовского по итальянской литературе, то у него окажется немного таких, в которых он занимался бы каким-нибудь явлением западной литературы самим по себе, не связи с литературой русской.

Работы же, которым отведено среднее место в нашей группировке, исходят из русской (частью славянской) отправной точки и возвращаются к ней. Западно-европейские же памятники—необходимый материал при работе над той или иной проблемой сравнительным методом, хотя автор останавливается иногда попутно на соображениях более специального характера, не выходящих за пределы интересов той или другой национальной литературы. Впрочем, такого рода случаи являются эпизодами.

Уже один сухой перечень работ Веселовского сравнительно-исторического типа свидетельствует о необычайной широте затронутых автором проблем. Но совершенно исключительное богатство содержания их раскрывается только при ближайшем знакомстве с

¹ Мы рассчитываем опубликовать его в недалеком будущем.

ними, когда читатель видит, что в *Разысканиях* или *Очерках по истории легенды* затронуты вопросы капитальной важности для изучения не только нашего литературного, но и культурного прошлого.

Так, исследование жития Василия Нового (X в.), в котором рассказано хождение по мытарствам Феодоры (*Разыскания*, XII), дает Веселовскому повод разобраться в наших народных эсхатологических представлениях, которые вырисовываются перед нами тем отчетливее, что автор сопоставляет их с соответствующими представлениями на Западе. Представления о конечных судьбах мира и человечества, о загробной судьбе отдельного человека волновали средневековых людей издавна. Традиционные представления народа не отличались ни четкостью, ни разработанностью. Они ограничивались судьбой отдельного человека. Отдельные умершие (в особенности умершие родители) продолжали жить земной жизнью. Гроб был их „домовой“, оставшиеся в живых кормили их на поминках, посещали на погосте („гостебище“) ожидали их посещения. Одним словом, мир ушедших и мир живых находился в постоянном общении. Христианство нарушило контакт, строго разграничив мир жизни и смерти, мир духа и тела. Но разрушить традицию

корне было невозможно. В итоге получились колеблющиеся представления и механически двойственное отношение к умершим, „двоеверная“ точка зрения, характерная для общества, принявшего христианство, но оказавшегося не в силах совершенно порвать со своим прошлым или переработать его органически.

Для будущей судьбы умерших это прошлое не давало ничего. Идею страшного суда соответствующие образы и краски внесло христианство, главным образом в формах более свободных апокрифических, легендарных представлений и памятников, к числу которых относится и житие Василия Нового. Эту зависимость отразили в себе духовные стихи, явившиеся исходной точкой исследования Веселовского. Для них характерно отсутствие оригинального вклада в образность загробного мира, построенного ими в духе классических христианских представлений.

Представления эсхатологического характера сложились также под влиянием христианства. Но идеи о конечных судьбах мира воспринимались различно, в зависимости от культурного состояния воспринимающей среды. Там, где жизнь ее была богаче, сложнее и тревожнее, будущее вызывало более живой интерес, ожидание было остree, напря-

женнее. В элементарной среде народа, жившего менее сложной жизнью, эсхатологические представления не находили достаточной пищи для своего развития. В древней Руси были хорошо известны сказания об Антихристе и о кончине мира, но они почти не оказали влияния на народные духовные стихи.

Тонко и интересно разработан Веселовским в его *Разысканиях* и вопрос о славянских представлениях судьбе-доле (XIII, XXIII). На связь этих представлений с „родом“, „рожаницами“ и родовым бытом указывалось уже раньше. Веселовский расширяет круг аналогий за счет материала западного и целого ряда новых народностей и следует затем за развитием дальнейших осмыслений первоначального образа. Так, от русской доли—судьбы, того, что суждено, он переходит к фактам понимания доли как случайной участии, которое имеется в сербской „срѣће“ и является, несомненно, более поздним этапом истории данного представления.

Несколько неожиданно, в связи с колядками, *Разыскания* знакомят нас с миром скоморохов, игравших такую активную роль в потехах и развлечениях старой Руси (VI—X). Исследуя вопрос о них, Веселовский развернул перед нами интересную картину проникновения к нам древнего мима, его ис-

тории на русской почве и роли в народной обрядности и развитии эпической песни. И много других подобных проблем и вопросов разрешается перед нами в 24 выпусках *Разысканий*, посвященных, казалось бы на первый взгляд, весьма специальной форме народной песни, никак не позволяющей ожидать, что она может привести нас к таким заманчивым темам,

От *Разысканий*, II, трактующих об одном из популярнейших героев русского народного предания, Георгия, протягиваются связи к нашему былевому эпосу, к разработке которого, по словам Веселовского, „разыскания в области духовного стиха являются естественным введением“. Речь идет о Георгии-змееборце, рядом с которым стоит Федор Тирон и южно-славянский Михаил из Потуки, а с другой стороны—Добрыня Никитич, богатырь и также змееборец. Имя же св. Михаила из Потуки, равно как и общие очертания легенды о нем, приводят нас к другому нашему эпическому герою—Потоку-богатырю, доставившему немало хлопот исследователям нашей былевой поэзии. Отчество Добрыни „Никитич“, по мнению Веселовского, едва ли не русское осмысление греческого прозвища его „Аникита“—непобедимый.

И это напоминает нам Анику-Дигениса, Анику-воина, о котором также поется в песнях, где изображается его борьба со смертью. Аника уводит нас в область византийских героических песен, сюжеты которых проникали на Русь и перерабатывались в уровень нашим запросам и в меру нашего понимания. Оттуда пришли к нам и девы-воительницы, „паленицы удалые“, связывавшиеся в представлении грека с амазонками, а у нас стоящие одиноко, как экзотические фигуры, носящие на себе следы „нездешнего происхождения“. На тех же путях прошли в наш эпос и былинные „змеевичи“, не то чудовища, изрыгающие пламя, не то могучие богатыри. В Греции змеями, драконами, „драками“ или „драконтопулами“ (змеевичами) называлась вольница VII в., укрывавшаяся в горах Тавра. И наш Тугарин-Змеевич приезжал из-за гор, откуда его эпитет „загорский“, а когда он превратился в своего рода татарина, то он стал приезжать из „улусов“, и опять же загорских. Но в другой песне он оказывается царьградским богатырем, й мать его живет в Царьграде. Черты старого и нового переплелись, и путаница позволяет еще иногда разглядеть сквозь переплет первоначальный образ. Чужое легче подвергалось переработке или устраниению.

Так, захожие византийские богатыри, превратившиеся в „старших“, не сблизились с местными, „младшими“, и когда в после-тагарскую пору у нас обозначился свой земский эпос с Ильей, они либо исчезли, сошли со сцены, либо роль их, как роль Аники-воина, была ограничена разрешением какой-нибудь частной задачи.

Что византийские песни проникали в южную Россию, не должно нас удивлять, ибо отрывки византийских повестей были известны и немецким шпильманам (см. поэмы о Дитрихе). Перед нами частный случай широкого распространения византийского влияния на литературы Запада. Веселовский напомнил нам известие Лиутпранда о том, что песни против сыновей Романа Лакапина пелись не только в Европе, но и в Африке и Азии, а *Слово о полку Игореве* говорит, что подвиги Святослава киевского воспевались в славянских землях, у венецианцев и у немцев. Заслуга Веселовского, между прочим, в том, что он раскрыл значение Византии и роль ее в развитии нашей народной поэзии.

Мастерское владение сравнительным анализом позволило Веселовскому ответить на множество важнейших вопросов и осветить самые темные углы нашего поэтического прошлого, разрешая тем самым одновременно

и загадки западноевропейской литературы.

Я напомню, например, апокрифические рассказы, приставшие к имени Соломона, которые интересовали Веселовского,—может быть с легкой руки Буслаева,—всю его жизнь, начиная с его докторской диссертации. Древне-русский рассказ о Соломоне и Китоврасе оказался, после тщательных поисков, связанным теснейшим образом с талмудическим рассказом о Соломоне и Асмодее. К тому же источнику, но через византийское посредство восходят и западно-европейские сказания о Соломоне и Морольфе и о Мерлине. Обращаясь к соломоновым сказаниям неоднократно позднее, Веселовский в ряде случаев менял высказанные им относительно них ранние свои идеи, упорно добиваясь их уточнения. Так, считая первоначально странствующие апокрифические и полуапокрифические произведения принадлежностью дуалистов-богомилов, он находил впоследствии, что дуалистические элементы могли быть и более раннего происхождения, ибо они имеют широчайшее распространение, и что secta была главным образом распространительницей этих воззрений (*Разыскания*, XI, 34). Неутомимое искание ответа на вопрос—одна из характернейших черт Веселовского, ска-

завшаяся, помимо соломоновой темы, и на ряде других, к которым он постоянно возвращался, каковы темы об Александре, Константине или Грале. Всем хорошо памятно, с каким упорством работал Веселовский над темой о Грале, подходя к ней то со стороны византийских связей, то со стороны эфиопских и палестинско-сирийских отношений.

Детальный анализ сербской *Александрии*, сделанный Веселовским, показал, что она переведена с греческого оригинала, но оригинал этот характеризуется наличием в нем романского элемента, проникшего в него из латинского или романского текста романа об Александре, вернувшегося на родину в пору, когда на Балканском полуострове усилилось западное влияние (с начала XIII в. в связи с взятием крестоносцами Константинополя). Романский текст сказался в греческом не только отдельными заимствованными терминами, но и приближением старого назидательного сказания псевдо-Каллисфена, проникнутого идеей о ничтожестве человека, к книге занимательной, с подчеркнутым христианским (Александр — полухристианский герой) и светским колоритом. В XIV—XV вв. псевдо-калисфенова *Александрия* была вытеснена сербской из круга популярных книг и сохранилась в хронографах.

Сербская *Александрия* позволила Веселовскому установить и один из интересных путей общения старой Руси с Западом. В данном случае это была Далмация или Босния, области, смежные с романским миром, знакомые с латинским и итальянским языком. Оставалось установить посредников. Веселовский их не указал. Позднейшие работы предположили хорватов-глаголитов, пользовавшихся церковно-славянским языком в богослужении, с одной стороны, и западно-русских католиков, обращавшихся иногда к хорватским церковно-славянским книгам, — с другой.

Среди сказаний апокрифического склада приблизительно той же поры Веселовским установлены и такие, в которых вскрываются западно-европейские связи. Так, им обстоятельно изучено, между прочим, послание новгородского архиепископа Василия к тверскому епископу Феодору, относящееся к XIV в. Оно носит, на первый взгляд, вполне русский характер. Чтобы показать ошибочность взглядов своего корреспондента, отрицавшего существование земного рая, Василий ссылается на свидетельство новгородских путешественников, ходивших в Белое море или Ледовитый океан и видевших рай. Однако при ближайшем изучении Веселовским

послания оказалось, что у русского памятника несомненные сюжетные связи с рядом памятников западных, вроде романа об Аполлонии Тирском, хождения св. Брандана, немецкой поэмы (XIII в.) Генриха Нейенштадтского и известного путешествия Мандевилля, хотя прямого источника русского рассказа отыскать Веселовскому не удалось. Наша легенда принадлежит, таким образом, к группе путешествий, в свое время широко распространявшихся по Западной Европе через приморские города с ростом торговых отношений, чем объясняется, между прочим, и ее проникновение в Новгород. Но на русской почве она приобрела своеобразный оттенок апокрифического сказания,—формы, пользовавшейся в древней Руси широкой популярностью.

Таким образом, западно-европейская литература проникает на Русь довольно рано, в пору, когда южно-славянские связи были еще в полной силе. С ослаблением их, вызванным политическим упадком южного славянства, наша литература вынуждена была, с ростом ее запросов со временем ослабления татарского ига, обратиться за материалом и новыми формами к новому источнику. Таким образом оказалась уже знакомая ей Западная Европа, посредниками—Польша и старые рус-

ские земли княжества Литовского. Отсюда проник к нам целый ряд книг и повестей, характерных для позднего слоя истории этого жанра на нашей почве. Веселовским исследованы повести познанского рукописного сборника XVI в. (*Тристан, Бова, Аттила*), и их рыцарские элементы в русском восприятии: боевые мотивы рыцарства усвоены глубже, так как понимание их было подготовлено своей эпической традицией; рыцарский идеал чести, куртуазии и любви—поверхностнее, так как он не находил соответствий в представлениях русской действительности. Кое-что проникало к нам из Чехии, частью через польское посредство, частью непосредственно. Веселовский подверг рассмотрению и *Историю королевича Брунцевика*, сохраняющую немало черт средневекового куртуазного романа, и *Историю о Василии Златовласом, Чешские земли*, близкую по складу и мотивам народной сказке о „разборчивой невесте“, повесть, подлинника которой мы не знаем (см. *Историю словесности* Галахова и *Заметки по литературе и народной словесности*). Вторая повесть принадлежит уже Петровскому времени, и в своем очерке истории русской повести в *Истории словесности* Галахова Веселовский отозвался на ряд памятников повествовательной литературы и

этой поры, тем самым включившись в изучение русской литературы нового времени.

Но мы знаем, что интерес его к ней увлек его и в область XIX в. Занятия Веселовского Жуковским, а затем и Пушкиным приписываются обычно внешним поводам. Веселовскому было поручено произнести речь по поводу 100-летия со дня рождения Пушкина и 50-летия со дня смерти Жуковского. Это верно. Но речь о Жуковском отнюдь не требовала почти двухлетних занятий поэтом, до и после нее, ни пристального изучения документов архива А. Ф. Онегина во время случайного пребывания в Париже зимой 1901 г., а затем архивных поисков в Ленинградской Публичной библиотеке, одним словом—всей той большой работы над поэтом, которая вылилась в классическую монографию о нем. Веселовский был увлечен вначале не столько героем своей книги, сколько русской литературой этого времени, с которой он стал знакомиться в последние годы XIX в. в связи со столетием смерти Пушкина. К речи о Пушкине Веселовский готовится серьезно, так как Пушкин был его любимым русским поэтом, в какой-то мере напоминавшим ему его итальянского любимца Боккаччо и привлекавшим его к себе как художник широчайшего размаха и как чело-

век. Монография о Жуковском была своего рода пробой своих сил и возможностей в новой области, области новой русской литературы; испытывать себя в жанре изображения творческой индивидуальности и изучения того, что он называл „личным почином“ поэта или писателя, после целого ряда работ такого характера, от лаконичного офпорта Данте и до мастерского портрета маслом Боккаччо, написанного на играющем всеми красками жизни историческом фоне, не приходилось. Если допускать известную долю неуверенности или волнения, то они обусловливались не столько непривычной средой, сколько эпохой. Но такое положение в какой-то мере стимулировало, и мне хорошо памятен тот задор, с которым Веселовский говорил, что он западник, итальянист, хочет показать русским словесникам, как нужно писать о русских писателях и что значит хорошая подготовка и опыт, изошренный на изучении западно-европейских писателей, о которых имеется огромная литература. Тогда уже он мечтал добраться до своего любимца, Пушкина, признавая за своим Жуковским значение лишь первого шага.

Теперь, когда со временем этой работы написания прошло сорок с лишним лет, когда многие из нас успели не только прочесть, но

и не раз перечесть эту замечательную книгу, мы можем сказать об авторе, что и в не-привычной для него как будто области литературы „son premier coup fût un coup de maître“ (его первый удар, опыт, был ударом, опытом мастера). Судьба и переживания человека, его среда, близкие и друзья, общество, окружавшее человека и поэта, его общественный облик, литературные традиции, свои и чужие, современные литературные веяния, таков тот фон, на котором раскрывается перед нами постепенно поэзия Жуковского, определяемая Веселовским как поэзия чувства и „сердечного воображения“. Портрет заканчивается анализом поэтики Жуковского.

Веселовский восстанавливает в своей замечательной книге сложный путь художника, сквозь чащу жизненных условий и литературных воздействий выходящего на свой творческий путь, к своему слову. Задачи уяснения роли поэта, меры его „личного почина“ и личных возможностей в первые годы XX в., т. е. последние годы его жизни, глубоко интересовали Веселовского. Его историческая поэтика, поэтика без поэта, была им к этому времени закончена, по крайней мере в основном, и он уже начал читать в университете курс, в котором делался опыт

рассмотрения поэтического творчества за границами предания.

В этом плане еще больше должно было увлекать исследование творчества Пушкина. Опыт с Жуковским в какой-то мере обязывал, и Веселовский принял за усиленные чтения о Пушкине, которые позволяли надеяться, что он подарит нам книгу о Пушкине, книгу мастера исторического исследования поэтического искусства о мастере поэтического искусства. К сожалению, надеждам этим не суждено было осуществиться, так как на следующий же год после выхода в свет книги о Жуковском, в 1905 г., болезнь уже принялась готовить дорогу смерти, и только сопротивление могучего организма Веселовского мешало ей быстро одолеть нашего Анику-богатыря.

В 1905 г. он обратился ненадолго к своей второй любви, Италии, и написал небольшую, но увлекающую поэтической чуткостью и тонкостью анализа книгу о Петрарке, другом корифее раннего итальянского Возрождения, точнее — книгу о *Канцоньере* Петрарки, как поэтической исповеди одного из лучших лириков мировой литературы, сумевшего заставить жить новой жизнью традиционные формулы любви и образы возлюбленной. И здесь перед нами новая попытка „просле-

дить, — говоря словами самого Веселовского, — каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие“ (Вступительная лекция 1870 г. в *Исторической поэтике*, 52).

Покончив с Петраркой, Веселовский вернулся в область русской литературы. Но для Пушкина у него уже не было сил и его потянуло к его первой любви, русской народной поэзии. Его последние работы посвящены былинам о *Потоке и о сорока каликах со каликою* и „*Русским и вильгинам в саге о Тидреке Бернском*“.

Следом его занятый Пушкиным осталась только его речь, написанная в 1899 г., — всего только немного более одного печатного листа. Но эти 18 страниц стоят иной книги. Веселовский поставил себе задачей вскрыть национальное значение Пушкина, значение поэта как выразителя характерных черт мыслей и чувств лучших представителей русского общества, того, что И. В. Сталин назвал, в своем известном определении сущности нации, ее „психическим складом“ (*Марксизм и национально-колониальный вопрос*, 1937, стр. 6). Но эти национальные

чёрты мыслятся Веселовским не как исконно присущие русскому обществу, а как нечто исторически обусловленное (И. В. Сталин, там же), и Пушкин изображается Веселовским как выразитель формирования этого "психического склада" на определенном этапе, этапе, однако, огромной важности, ибо он стоял на переходе от старого склада к новому, к образованию новых тенденций в русском обществе, которые продолжали затем развертываться все шире, и так до наших дней, когда возможность их дальнейшего развития получила исключительно прочное основание.

В 1823—1824 гг. П. А. Вяземский печалился по поводу отсутствия русской литературы: "есть язык русский, но нет словесности, достойного выражения народа могучего и могущественного; мы еще не имеем русского покрова в литературе, может быть и иметь не будем, потому что его нет".

А между тем, говорит Веселовский, эта литература уже зачиналась и Пушкин закладывал ее основания. Сентиментализм и романтизм были школой, в которой русские люди научились выражать свои личные настроения и изощрять свой ум для передачи их оттенков. Литературе нехватало общественных мотивов, говорит Веселовский, а

предоставало "народно-общественного содержания; она еще не стала „эхом русского народа". Романтизм приучил обращаться к народной фантастике, к памятникам русского поэтического прошлого. Но на народное творчество и на это прошлое смотрели как на своеобразную экзотику, как на развлечения, относились к нему добродушно-снисходительно, с сознанием своего превосходства над этими непрятательными словесными полками. В соответствии с этим и народный язык рассматривался как средство для достижения стилистического эффекта, а не как риторический литературной речи или как новые вехи для нового вина. Пушкин обратился решительно от "бессодержательных грез и безыменных страданий" к явлениям русской действительности, русской современности, а современность "распахнула [перед ним] двери в прошлое, обязывающее всякого, кто сознал историческое значение своего народа" (*Речь о Пушкине*, 20). "Пушкин сделал русское слово достоянием поэзии" (там же, 22) и дело поэта превратил в дело служения обществу и великой идее свободы. "Наша словесность, уступая другим в роскоши таланта, тем перед ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения", — писал поэт Ал. Бестужеву (там же, 27), и эти слова

могли быть повторены и многими десятилетиями позже. Вот в чем национальный характер поэзии Пушкина. Через него наша литература обрела свой путь.

Но Веселовский не ограничился раскрытием национального значения Пушкина; он показал нам его роль в движении; коротко, с присущим ему тонким чувством истории воспроизвел он перед читателем основные этапы пройденного Пушкиным, поэтом и человеком, пути, неровного, тернистого в условиях противоречий отсталого режима требований жизни, светской суэты и призыва художника и мыслящего человека, со знания своих сил, боевого темперамента и слабости воли и недостатка выдержки, огромных творческих достижений и жизненных неудач и просветов, в условиях, приведших Пушкина к одиночеству, к мыслям о смерти, как будто накликавшим ее на поэта. Перед нами немногословная до лаконизма программа целой книги, о характере которой позволяют догадываться те работы Веселовского, в которых он является не только мастером исследования, но и мастером языка.

Язык Веселовского заслуживал бы, несправедливости, особого исследования. Веселовский еще смолоду придавал большое значение форме написанного. Критикуя тезис

Штейнталя о том, что в истории литературы следует рассматривать только литературные, в узком смысле этого слова, произведения или такие, язык которых обладает „литературными“ достоинствами, Веселовский сопоставляет в стилистическом отношении немцев французов, отдавая предпочтение французам. Немцам, — говорит он, — важна добыча мысли, какой бы форме она выражена ни была. Итого нет на свете ученых, которые бы так яро писали, как немецкие. Другое дело французы: те уважают хороший стиль и потому хорошо пишут, читают до сих пор Босюэ, между тем как едва ли кто в настоящее время возьмется за Гердера, который, однако, хорошо писал“. Так думал Веселовский в 1863 г. (см. его *Отчет о командировке в Исторической поэтике*, 396). Не забудем, что Буслаев писал хорошо, следовательно придавал форме большое значение. Больше того: при более пристальном рассмотрении, между письмом Буслаева и Веселовского есть точки соприкосновения. Конечно, кое-что следует отнести за счет манеры эпохи и специфических чтений. Веселовский любил русский язык, в тайники которого он проник благодаря своей огромной начитанности в имятниках нашей старинной литературы, родной поэзии и внимательному отношению

к живой речи, в особенности речи деревни, у которой он, подобно многим своим современникам, поместным дворянам, учился русскому языку. Всякому, читавшему Веселовского, навсегда запомнятся его богатый лексикон, который так далек от шаблона и в котором архаизмы переплетаются со словами народного типа, его собственные новообразования с современными неологизмами. Приведу несколько примеров из взятой наудачу статьи, которые конкретизируют сказанное. Для литературы средних веков характерно символическое направление:... „и здесь прогресс состоит в приливе нового идеального содержания, в очертании унаследованных образов...“ (*ЖМНП*, 1886, июль, 159), „нисхождение когда-то о смысленных образов к значению реторических фигур или эмблем“ (там же). „Я не отрицаю в авторе предилекции к известным явлениям и направлениям в сфере искусств. Эта предилекция более ощущается и подразумевается, бережно скрадываясь в общей широкой идее“ (там же, 161). „Все новое рождается из старого и, в сущности, не ново: мы сидим на берегу той же великой реки истории, у которой лежали оседлости предков; наши розы и тернии выросли на щебне, накопленном от поколений и производившем такие же, если не те же тернии

и розы, почему в известном смысле порицание настоящего есть порицание прошедшего, и, наоборот, острье отрицания притупляется в этом взгляде, роднящем между собою разделенное веками, но объединенное одним движением прогресса; в человеке, проникнутом этим взглядом, господствующую психическою чертой будет чувство благоволения, соединяющего в одном теплом чувстве далекое прошлое с настоящим, хотя и неприглядным, но обещающим лучшее будущее“ (там же, 161—162). Напомню также „оптовые суждения“, на которые так негодовал Веселовский, или „впечатления жизни, которые каждое поколение приумножало и обогащало в прок следующему“ (там же, 158—159). Выписываю несколько примеров, предоставляя разобраться в них читателю самому... „древние формы речи и оборотов дольше и чаще сохраняются под неподвижным оплотом стиха: стоит только посравнить наши сказки с былинами о богатырях“ (обращаю внимание на заимствование примера из русской народной поэзии. *Собрание сочинений* А. Н. Веселовского, IV, 138, 1866). В Италии интерес к народной сказке невелик. „Поневоле подумаешь, что новелла переяла здесь народную сказку, как городская буржуазия доконала деревню“ (там же). „В Греции... роман при-

надлежит той поре, когда завоевания Александра Великого нарушили [национально-политическое развитие Греции], когда самостоятельная Греция исчезла во всемирной монархии, смешавшей восток и запад, предания политической свободы поблекли вместе с идеалом гражданина и личность, почувствовав себя одинокой в широких сферах космополитизма, ушла в самое себя, интересуясь вопросами внутренней жизни за отсутствием общественных, строя утопии за отсутствием предания" (*Историческая поэтика*, 66).

И этих примеров достаточно.

Оригинален Веселовский и в области слово сочетания, синтаксиса, то строго правильного то свободного, допускающего иногда даже иностранный оборот. Веселовский мог быть предельно точен, заканчивал иногда ход своей мысли чеканной формулой, которая запоминалась навсегда, вроде знаменитого положения о том, что „народный эпос каждого народа по необходимости международен“, что „гуманизм—это романтизм самой чистой латинской расы“ (в книге о Боккаччо и в *Исторической поэтике*, (1940, 56), что „народность открывается не в точке отправления, а в результате исторического процесса“. Характеризуя творчество Пушкина, он говорил, что поэт „открывал новые краски в образах ста-

ых, как греческие боги“ (*Речь о Пушкине*, 31), а описывая реакцию общества на смерть Пушкина, объединившегося в общем горе и как бы в сознании общей вины, он добавляет: Не волновалось дышь представители обезбреженного просвещения, для которых „писать стишкы“ не означало еще „проходить великое поприще“ (там же, 30). Общественный перелом в литературе эпохи Пушкина и мену эстетико-моральных теорий самосовершенствования призывом к деятельности после честивенной войны вызывает в нем формулу: „военно-державный патриотизм однажды уступает место народно-общественному“ (там же, 23) и т. д.

А сколько кратких и метких характеристик рассыпано по работам Веселовского, вроде, например, характеристики Брюнетьера как „классика по вкусам, неофита эволюционизма, завзятого, как всякий новообращенный, у которого где-то в уголке сознания в тишине царят старые боги“ (*Из введения в историческую поэтику*, см. *Историческая поэтика*, 1940, стр. 54), или характеристики Пыпина как человека: „бывало, в кружке людей, вином разделявших его убеждения и взгляды, о не близких, он казался, так сказать, застегнутым, в иных случаях отмалчивался и забегал, например, ответов, когда речь заходила“ (там же, 55).

дила ф. Чернышевском. При более близкомзнакомстве показывался человек прочных убеждений, с глубоким инстинктом правды, словоохотливый собеседник, охочий до шутки и на редкость добрый" (Некролог Пыпина, стр. VII). Припомним заключительные, лапидарные, строки того же некролога: "Он воспитал многих не только плодами мысли, но и примером жизни" (там же, стр. VIII).

А наряду с подобными пластическими формулами,—как будто недосказанные обороты: они внушиены осторожностью, опаской перед преждевременным выводом, а отнюдь не неотчетливостью мысли или небрежностью, в которых иногда упрекали Веселовского. Веселовский был полновластным хозяином своего слова и владел тайною русской речи, как немногие, располагая ее средствами и возможностями с исключительной свободой.

Он мог докладывать по-деловому, сухо, даже излишне учено, не щадя своего читателя и оставляя без перевода цитаты на малодоступных языках. Но когда это было нужно, он менял тон и превращался в художника, которому могли позавидовать многие. Он мог пересказать *Элегию мадонны Фьямметты* Боккаччо так, что пересказ оставляет едва ли не более сильное впечатление,

чем хороший перевод, точно воспроизводящ оригинал.

Веселовский умел быть деловым, но умел и волновать. За его своеобразной речью чувствуется не только острое восприятие и тонкое переживание объекта его исследования, но и огромный темперамент, который содерживало воспитание, профессия, а затем и возраст. Но в молодые годы сдерживать его было труднее. Это можно наблюдать в его корреспонденциях из Италии в *Санкт-Петербургские ведомости*. Они относятся к той поре жизни Веселовского, когда он, молодой шестидесятник, очутился в стране, во многом напоминавшей ему Россию, в стране, в которой все находилось в брожении и которая искала выхода на новые пути. Естественно, что он не мог оставаться пассивным зрителем развертывавшегося на глазах движения и, по его собственному признанию, проникся местными интересами настолько, что стал подумывать о том, чтобы обосноваться в Италии. Корреспонденции его написаны, поэтому, не только с детальным знанием итальянских отношений, но и горячо, как пишут люди о деле, их близко касающемся. Он серьезно озабочен итальянскими неурядицами, бестолковым разрушением старого и столь же бестолковым введением нового. Он не верит в спасительность

реформ сверху, не верит в силу отрицательных мер. „Если что-нибудь дурно движется и застряло в колее, снимите докучный тормоз, не отпрягайте лошадей... Вы удаляете причину зла, как-будто добро есть нечто такое, что развивается из одного отрицания, без семени и посева“ (*Собрание сочинений*, IV, 2, 123). Его волнует малая активность итальянского общества, его отсталость, в особенности отсталость народной массы, между настоящим и прошлым которой „прошла стая историческая полоса, полоса, насыщенная целыми веками преданий, но которая сейчас почти безграмотна, причем бывшее средоточие итальянской цивилизации, Тоскана, безграмотнее самого безграмотного департамента Франции“. А между тем на стороне народа сила, и потому все стараются привлечь его на свою сторону. Это—сиденье богатырь, которому калики перехожие должны подать напиться браги, чтобы он пришел в себя и почувствовал железные мышцы. Только таким актом сознания сила становится действительно силой; только образование... дает человеку личность, самостоятельность, возможность определить свои права и свои отношения к окружающей среде (*Собрание сочинений*, IV, 2, 119). Все эти мысли, накопленные в России и даже выра-

женные в образах любимой Веселовским русской народной поэзии. Веселовский следит внимательно за литературой, трактующей злободневные вопросы итальянской жизни и политики, и сетует, когда не может познакомить русских читателей с какой-нибудь новинкой в этой области.

Русскими настроениями подсказана Веселовским и идея революционного выхода из итальянских неурядиц, идея „сильного очищательного переворота, будь то сверху или снизу, переполнится ли мера терпения или политическая сноровка отведет бурю“ (там же, 161).

А попутно в своих письмах из Италии он затрагивает и вопросы истории и литературы, к которым обратится позднее не раз в другой связи и с более глубокой мотивировкой. Пока—это всего лишь заметки на лету. Тонки и интересны наблюдения Веселовского над характером итальянской народной песни, отражающей в себе сложную и долгую историю страны и едва отдающейся наивному чувству природы. Любопытны наблюдения Веселовского над легендами Фриуля, лежащего между германским, итальянским и славянским миром, прервавшими образно спор между национальностями. Итальянским феям нельзя было сражаться с немецкими, но славяне не раз спа-

сали и защищали Венецию, и устроил это сам покровитель ее, апостол Марк. Интересна и неожиданная попытка Веселовского сопоставить развитие романских языков с развитием романского стиля в искусстве. В большей объемности романских слов (как *soliculus* вм. *sol*, *lusciniola* вм. *luscinia*, *nivla* вм. *nix*) он видит „наклонность к узорчатости, к наивно-замысловатой витиеватости“, напомнившую ему „причудливые поросли“, изменившие классическое искусство, превратившие его в романское (там же, 173–174). Но в этом сопоставлении, конечно, больше остроумия, нежели основания. Лингвист воспримет его как курьез и пройдет мимо.

Будучи человеком большого темперамента, Веселовский являлся редко встречающимся типом ученого-художника, для которого научная работа была волнением и „одуванченным трудом“.

Подобно Пушкину он мог бы сказать о себе:

Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье.

Он вырос на Пушкине и Гоголе и был современником „гоголевского периода“ русской литературы и наших великих писателей

классиков. На его глазах от дискуссии о народности перешли к собиранию и научному изучению памятников „народной словесности“ от отвлеченного интереса к народу – к требованиям перестройки его жизни и далее – обсуждению перестройки всего общества на основе „социалистских“ идей (*Дневник* Веселовского, 84). Его миропонимание складывалось в пору предпочтения философии исторического анализа. Буслаев в 1861 г. ставил вопрос, перестроилась ли эстетика под влиянием нового материала, народной жизни, и отвечал: „Современное состояние эстетики вполне убеждает нас в том, что отвечать на эти вопросы утвердительно не можем. Эта философская наука, построенная на скучных фактах и бесполезных воззрениях,— как те ветхие мехи, в которые не вливают вина нового,— не может уже вместить в свой условные пределы свежего, здорового, в обилии заготовленного новейшей исторической разработкою художественных явлений вообще и тем более разработкою такого предмета первой важности, какова „народная поэзия“ (*Исторические очерки*, ст. „Русский народный эпос“, I, 405). Вот, что мог бы сказать Веселовский с кафедры или, во всяком случае, читать в научных работах того времени.

В годы его молодости еще не улеглись споры об отношениях Запада и Востока, т. е. России и славянства, но уже отчетливо наметилась и точка зрения единства законов развития у всех народов, из которых народ русский, при всем своем своеобразии, не составляет исключения, и практический вывод отсюда о том, что каждому народу есть чему поучиться у другого. И в этой связи вновь вспоминаются идеи учителя Веселовского Буслаева (цитированный том *ЖМНПр.*, 164—166), усилившего и углубившего интерес ученика к русской литературе. Таковы были идеи передовой русской науки того времени, которые определили характер работы Веселовского, теоретически направленной в сторону превращения истории литературы в подлинную науку. Вслед за Буслаевым Веселовский отдался сознательно изучению старинной литературы и народной поэзии.

Еще в заграничном отчете 1862 г. Веселовский говорит, что если разбираться в истории провансальской литературы, то из общего зрения „не следует исключать и провансальского луцидария и дидактического трактата об охотничьих птицах и наставления жонглеру“ (Историческая поэтика, 1940, 35). Несколько годами позже, подводя итог своим размышлениям на эту тему в свое-

ступительной лекции в Петербургском университете (1870), он возражает против того, чтобы предметом исследования делать исключительно какую-нибудь крупную личность, чтобы „какой-нибудь великий человек отвечал за единство взгляда, за целостность обобщения: Петрарка, Сервантес, Данте и его время, Шекспир и его современники... Современная наука позволила себе заглянуть в массы, которые до сих пор стояли за их, лишенные голоса; она заметила в них жизнь, движение, неприметное пронзенному глазу, как все, совершающееся в слишком обширных размерах пространства и времени: тайных пружин исторического процесса следовало искать здесь, и вместе с положением материального уровня исторических изысканий центр тяжести был перенесен в народную жизнь. Великие личности явились теперь отблеском того или другого движения в массе“ (там же, 43, 44).

И опять припоминается Буслаев: „теперь довольствуются... привилегированным положением гения, ответствующего на занятия своей эпохи; думают, что трудно и даже невозможно бывает понять этого гениального ответа без всестороннего, подробного изучения самых вопросов, которые предложены были ему эпохой. И вот, около

прославленного гениального имени изучаемой эпохи скопляется целый ряд произведений, правда не столько знаменитых, не столь превознесенных эстетическою критикой, но столько же исполненных жизненного интереса, чаяний и ожиданий, вполне характеризующих господствующее настроение целых народных масс" (там же, 404).

Отсюда упорная и долголетняя работа Веселовского над древне-русской и славянской литературой и памятниками народного творчества.

Такая работа мотивировалась затем теоретически в высказываниях университетских курсов и во *Введение в Историческую поэтику*. Веселовский продолжает в основном следовать заветам русской науки 60-х годов.

Но связью с преданием не исчерпывается творческий акт. Остается личное начало, всегда интересовавшее Веселовского, которого он, как чуткий человек, не мог миновать и о котором он высказывался попутно, но всегда в терминах сдержанных и осторожных. Мы уже говорили выше, что теоретически он подошел к вопросу в последних своих чтениях по поэтике; но смерть помешала ему углубиться в эту проблему. Эмпирически же он подходил к ней (мы это видели) в своих работах о таких поэтах, как „три

флорентийских венца“ („tre corone florentine“), т. е. Данте, Петрарка, Бокаччо, и в русской литературе — Жуковский и Пушкин; но книге о Пушкине не суждено было увидеть свет.

Таков объем и значение поистине богатырской работы Веселовского по исследованию драгоценного наследия русской литературы, созданной столько же русским народом, сколько его классическими мастерами слова, слившими сейчас свои усилия в едином мотиве творческом подъеме.

Веселовский раскрыл перед нами содержание этого наследия, показав не только, что и от кого было нами усвоено, но и что из него вошло в мировой оборот.

Он разъяснил нам огромную исследовательскую ценность этого наследия как для истории литературы, так и для ее теории, ибо в русском материале сохранились такие звенья исторического развития и такие варианты памятников, которые в других литературах не уцелели.

Русская общественная „школа“, демократическая направленность его общественной мысли помогли ему отчетливее понять некоторые явления западно-европейской истории, как, например, эпоху Возрождения, и глубже проникнуть в ее сущность на революционном этапе ее развития.

Русский человек Весёловский как учёный проявил в высшей мере те свойства своего народа, которые так ярко сказались в нем во время Великой Отечественной войны: „ясный ум, стойкий характер и терпение“ (Сталин).

Остальное сделал талант и увлеченное искание истины, которые пронизывают каждую работу Веселовского, остающегося до наших дней непревзойденным русским мастером литературной науки, обаяние которого передается читателю и до сих пор со страниц его золотого научного наследия.



Отв. редактор проф. М. П. Алексеев.

Подписано к печати 31/V 1946 г. М-03568 Печ. л. 2.
Уч.-изд. л. 2. Тираж 10000 экз. Заказ 298.

Тип. ЛГУ, Университетская наб., 7/9

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Филологический факультет приступил к изданию научно-популярной серии по лингвистике и литературоведению.

Вышли в свет следующие издания:

1. Проф. В. Е. Евгеньев-Максимов.
Великий русский народ в поэзии Некрасова. 1945 г. Цена 1 руб. 50 коп.
2. Проф. П. Н. Берков. Ломоносов и наша современность. 1945 г. Цена 1 руб. 50 коп.